

Бертран Рассел Мистицизм и логика filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Бертран Рассел

Мистицизм и логика

Метафизика, или стремление постичь мыслью мир в целом, всегда развивалась в единстве и конфликте двух противоположных человеческих импульсов: один из них побуждал к мистицизму, другой – к науке. Некоторые люди достигли величия, следуя первому импульсу, некоторые – следуя только второму. У Юма [1. Юм, Дэвид (1711-1776) – английский историк, экономист и философ, представитель агностицизма. Известен трудами: «Трактат о человеческой природе» (1739-1740), «Эссе: моральные и политические» (1741-1742), «Опыт исследования принципов морали» (1751), «Политические дискурсы» (1752), «Опыт исследования человеческого понимания» (1758). Более всего Юм известен как историк, написавший восьмитомную «Историю Англии» (1753-1762). В 1761 г. все его сочинения были занесены в «Индекс запрещенных книг».], например, научный импульс властвует безраздельно, а у Блейка [2. Блейк, Уильям (1757-1827) – английский поэт и художник, мистик. Известен своими сборниками: «Поэтические наброски» (1783), «Песни невинности» и «Песни опыта» (1789-1794), поэмами «Мильтон» (1808) и «Иерусалим» (1804-1820) и рядом других работ. Как художник известен прежде всего иллюстрациями к книге Иова (1826). Мистические идеи выражены в книгах «Брак рая и ада» (1793), а также в ряде других работ, многие из которых остались незаконченными.] сильная неприязнь к науке сосуществует с глубоким мистическим проникновением. Но величайшие люди, те, кого мы называем философами, ощущали нужду одновременно и в науке и в мистицизме: в попытке гармонического соединения того и другого состояла цель их жизни. Именно преодоление изнуряющей неопределенности этой альтернативы превращает философию в более высокое занятие, чем наука или религия.

Прежде чем дать подробную характеристику научного и мистического импульсов, проиллюстрирую их на примере двух философов, несомненное величие которых определяется тем, что им удалось достичь органичного соединения того и другого. Я имею в виду Гераклита [3. Гераклит Эфесский (520-460 до н. э.) – древнегреческий философ, один из основателей диалектики. Сохранилось более ста фрагментов – в основном в виде цитат в произведениях позднейших авторов. Философ настаивал на том, что в мире, управляемом логосом (универсальной формулой всех вещей), проявляется связь и борьба противоречий; и это делает мир единой и познаваемой системой.] и Платона [4. Платон (428 или 427 – 348 или 347 до н.э.) – древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа. Около 387 г. до н. э. основал школу, получившую название Академии. Автор многочисленных трудов, написанных главным образом в форме диалога. Учение Платона оказало значительное влияние на дальнейшее развитие философии. Важнейшие произведения: «Государство», «Теэтет», «Федон», «Протагор», «Парменид», «Филеб», «Тимей», «Законы».]

Гераклит, как известно, веровал во всеобщее изменение: время созидает и разрушает все вещи. Из немногих сохранившихся фрагментов непросто понять, как он пришел к своим взглядам, но некоторые его высказывания заставляют предположить, что источником их было научное наблюдение.

«Все то, что доступно зрению, слуху и изучению, – говорит он, – я предпочитаю».

Это – язык эмпирика, для которого наблюдение – единственная гарантия истины. «Не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно обновляется», – гласит другой фрагмент. И это суждение, несмотря на свой парадоксальный характер, является очевидным результатом научной рефлексии; в нем разрешается трудность, связанная с вопросом: каким образом солнце за ночь проделывает под землей путь с запада на восток? Непосредственное наблюдение, должно быть, породило и центральное положение в учении Гераклита – что огонь есть единая неизменная субстанция, переходящими фазами которой являются все видимые вещи. В самом деле, наблюдая

горение, мы видим, как вещи полностью изменяют свой вид, а языки пламени и жар поднимаются в воздух и исчезают.

«Этот мировой порядок, тождественный для всех, – говорит он, – не создал никто из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живущим огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим».

«Превращения огня – во-первых, море: море же наполовину есть земля, наполовину – воздушный вихрь».

Несмотря на то что эта теория неприемлема для современной науки, она тем не менее является научной по своему духу. Наука, должно быть, вдохновила и известное изречение, на которое ссылается Платон: «На того, кто входит в ту же самую реку, каждый раз текут новые воды». Однако мы находим и еще один фрагмент:

«В одни и те же воды мы погружаемся и не погружаемся; мы существуем и не существуем».

Сравнение этого утверждения, которое является мистическим, с тем, которое приводит Платон и которое научно, показывает, насколько органично слиты эти две тенденции в системе Гераклита. Мистицизм по сути своей близок к тому напряженному и глубокому чувству, которым отличается вера в наши представления о Вселенной; именно чувство заставляет Гераклита, опирающегося на науку, весьма странно и резко высказаться о жизни и мире: «Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки: царство над миром принадлежит ребенку».

Не наука, а только поэтическое воображение может видеть во времени деспотичного господина мира, наделенного всей безответственной игривостью ребенка. И именно мистицизм приводит Гераклита к утверждению, что противоположности тождественны.

«Добро и зло суть одно», – говорит он. И еще: «У бога все прекрасно, хорошо и справедливо; люди же считают одно справедливым, другое несправедливым».

Немало мистицизма и в основе этики Гераклита. Вполне возможно, что утверждение «Характер человека есть его демон» – вдохновлено исключительно научным детерминизмом; но только мистик мог сказать: «Всякое пресмыкающееся бичом гонится к корму», и еще: «Трудно бороться с сердцем. Ибо каждое из своих желаний оно покупает ценою души», и еще: «Мудрость заключается в одном: познавать мысль как то, что правит всем во всем».

Примеры можно умножить, однако и приведенного достаточно, чтобы понять характер этого человека: факты науки, как они ему виделись, питали пламя в его душе, и он всматривался в глубины мира, направляя на него отблеск своего внутреннего, проникающего и пожирающего, огня. В такой натуре мы встречаемся с истинным единением мистика и ученого, что является высочайшим из достижений, возможных в сфере мышления.

У Платона – тот же двойственный импульс, хотя мистический элемент явно сильнее и всегда одерживает победу в ситуациях острого конфликта. Его описание пещеры – классическая формулировка веры в знание и в реальность более истинные и реальные, чем знание и реальность чувств:

"...– Посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная – глянь-ка – невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. – Это я себе представляю.

– Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.

– Станный ты рисуешь образ и странных узников! – Подобных нам. ...– Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него, иначе говоря, как бы это

все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное.

Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх – в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать! Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь?

– Конечно, он так подумает... – Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху.

Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем – на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом – на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и его свет.

– Несомненно.

– И наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое Солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других, ему чуждых, средах.

– Конечно, ему это станет доступно.

– И тогда уж он сделает вывод, что от Солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в видимом пространстве, и оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере.

– Ясно, что он придет к такому выводу после тех наблюдений. ...– Так вот, дорогой мой Главкон [5. Главкон – один из участников диалога Платона «Государство».] это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее: область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль – коль скоро ты стремишься ее узнать, – а уж богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага – это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она – причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она... сама – владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни".

В этом отрывке, как и во всем почти платоновском учении, мы находим отождествление истинно реального с благом, вошедшее в философскую традицию и все еще широко распространенное сегодня. Признав за благом законодательную функцию, Платон породил тот разрыв между философией и наукой, от которого, на мой взгляд, обе они пострадали и продолжают до сих пор страдать. Ученый, в чем бы ни состояли его надежды, должен отвлечься от них, когда изучает природу; то же самое должен сделать и философ, если он желает достичь истины. Этические соображения оправданны тогда только, когда истина уже установлена: они могут и должны возникнуть при определении наших чувств в отношении истины и как способ организации нашей жизни сообразно с истиной; но не они должны диктовать, какой будет эта истина.

У Платона есть места – из тех, что иллюстрируют научную сторону его ума, – где он, по-видимому, ясно сознает это. Самый примечательным является в этом плане отрывок, в котором молодой еще Сократ [6. Сократ (470/469–399 до н. э.) – древнегреческий философ, учитель Платона. Осужден на смерть в 399 г. до н. э. – история последних часов Сократа описана в диалоге Платона «Федон», а процедура суда – в «Апологии» Ксенофонта. Сократ ничего не написал за свою жизнь,

и о его воззрениях мы узнаем главным образом из сочинений Платона, где Сократ выступает олицетворением философии. Сократа интересовали главным образом нравственные вопросы: философ считал, что происхождение и строение мироздания непостижимы, поэтому философия должна заниматься «жизнью» человека. Он был противником всякого догматизма и выступал против лекций как формы обучения, предлагая заменить их беседами или спорами. Методом философии он считал «диалектику» – искусство спора и способ нахождения истины.] излагает теорию идей Пармениду [7. Парменид из Элеи (около 540 – около. 470 до н.э.) – древнегреческий философ, современник Гераклита и его оппонент, считается основателем метафизики. Учение Парменида изложено в поэме «О природе», 160 строк из которой сохранилось в виде цитат у Секста Эмпирика, Симплиция и других позднейших авторов. Учение Парменида оказало влияние на всю древнегреческую философию, особенно на концепции Левкиппа и Демокрита, Платона, софистов, Зенона Элейского.] После того как Сократ объясняет, что существует идея блага, но не идеи таких вещей, как волосы, грязь и нечистоты, Парменид советует ему «не относиться пренебрежительно даже к самым низким вещам», и совет этот обнаруживает подлинно научный склад ума. Если философия желает реализовать величайшие свои возможности, мистическое проникновение в высшую реальность и скрытое благо должно сочетаться с беспристрастием. Неумение достичь этого сочетания сделало идеалистическую философию по большей части столь худосочной, безжизненной и иллюзорной. Только в брачном союзе с миром наши идеалы могут принести плоды – в одиночестве они остаются бесплодными. Но союз этот не состоится, если идеал страшится факта или требует, чтобы мир заранее подчинился его желаниям.

Парменид является родоначальником весьма интересного мотива в мистицизме, проходящего через все платоновское мышление. Это мистицизм, который можно назвать «логическим», ибо он воплощен в теориях, касающихся логики. Данная форма мистицизма играет главную роль в рассуждениях всех великих метафизиков мистического направления, начиная с самого Парменида и кончая Гегелем и его новейшими учениками [8. Имеются в виду английские последователи Гегеля – Д. Стирлинг, Т. Грин, Э. Керд, Ф. Брэдли, Б. Бозанкет, Дж. Мак-Таггарт и другие. Неогегельянство существовало в это же время в США, Италии, Германии, России, Франции.]. Реальность, говорит Парменид, несотворена, неразрушима, неизменна, неделима; она «лежит неподвижно в пределах великих оков, не имея ни начала ни конца, так как возникновение и гибель откинута от нее весьма далеко истиной доказательства». Фундаментальный принцип выражен в изречении, которое может показаться принадлежащим Гегелю: «Нельзя знать того, чего нет, – это невозможно, – нельзя и выразить этого; ибо это одно и то же – что можно помыслить и что может быть». И еще: «Необходимо и должно, что то, о чем можно помыслить и что можно сказать, есть; ибо возможно, чтобы это было, и невозможно, чтобы то, чего нет, было». Из этого принципа следует невозможность изменения; ибо о том, что прошло, говорить можно, и, следовательно, согласно принципу, оно еще есть.

Мистическая философия во все времена и во всех частях света опиралась на ряд убеждений, присутствующих и в двух рассмотренных нами учениях.

Это, во-первых, вера в способность интуитивного проникновения, как нечто противоположное дискурсивному аналитическому познанию; вера в путь мудрости – путь внезапных озарений, имеющих принудительный характер, – противопоставляемый медленному и изобилующему ошибками научному пути познания внешних явлений, для которого характерна опора на чувства. Всякий, кто способен к концентрации на внутреннем переживании, должно быть, испытывал когда-нибудь странное ощущение нереальности окружающего; теряется контакт с повседневными вещами, пропадает ощущение надежности внешнего мира, и кажется, что душа – в полном одиночестве – извлекает из своих глубин безумно пляшущих фантастических призраков, которые до сих пор были реально существующими и живущими независимо от нас. Это – негативная сторона мистического посвящения: сомнение в обыденном знании подготавливает путь к восприятию того, что является высшей мудростью. Многие люди, знакомые с таким негативным опытом, не идут дальше, но для мистика это лишь врата в более широкий мир.

Мистическое проникновение начинается с ощущения, что тайна раскрыта, что истинная мудрость внезапно стала очевидной. Чувство очевидности, открытости истины приходит раньше, чем какое-либо конкретное понимание. Последнее – уже результат рефлексии над неартикулируемым опытом, полученным в момент откровения.

Убеждения, в действительности не связанные с этим моментом, нередко попадают впоследствии в поле его притяжения; поэтому в дополнение к мнениям, которые разделяют все мистики, мы находим у многих из них и другие мнения – частные и преходящие, – которые приобрели субъективную достоверность благодаря слиянию с тем, что было действительно мистическим. Мы можем не обращать внимания на такие несущественные наслоения и ограничиться убеждениями, которые разделяют все мистики.

Первым и непосредственным результатом мистического просветления является вера в возможность самого этого способа познания, который можно назвать откровением, или интуицией, и который противоположен чувству, рассуждению и анализу – слепым проводникам в трясину иллюзий. Тесно связано с этой верой и представление о реальности, существующей «по ту сторону» мира явлений и совершенно от него отличной. Восхищение этой реальностью часто доходит до поклонения ей; считается, что она всегда и везде рядом, прикрытая тонкой вуалью из чувственных представлений, готовая – для восприимчивого ума – блистать во всем великолепии даже сквозь несомненную глупость и порочность человека. Поэт, художник и любящий ищут этого сияния: красота, которую они хотят увидеть, – это лишь слабое его отражение. Но мистик живет при полном свете знания: он ясно видит то, что другие только смутно ощущают, и знание его таково, что рядом с ним всякое другое знание выглядит невежеством. Второй чертой мистицизма является вера в единство и отказ признать в чем-либо противоположность или различие. Гераклит говорил, что «добро и зло суть одно»; он говорил также, что «путь вверх и вниз один и тот же». Этот подход обнаруживается и в одновременном утверждении противоречащих друг другу суждений:

«В одни и те же воды мы погружаемся и не погружаемся; мы существуем и не существуем». Утверждение Парменида, что реальность едина и неразделима, исходит из того же импульса к единству. У Платона этот импульс менее заметен, он сдерживается его теорией идей; но он вновь появляется, насколько это позволяет платонова логика, в учении о первенствующем значении блага.

Третьим признаком почти всей мистической метафизики является отрицание реальности времени. Это результат отрицания различий: если все есть одно, различие прошлого и будущего должно быть иллюзией. Мы видели, что у Парменида это учение выступает на первый план; а среди философов Нового времени оно фундаментально для систем Спинозы [9. Спиноза, Бенедикт (1632–1677) – голландский философ, главные работы: «Богословско-политический трактат» (1670), «Этика» (издана посмертно в 1677)]. Основной задачей философии, согласно Спинозе, является разработка этики. Свободный человек, по мнению философа, сознает необходимость всех вещей, происходящих в мире, и подчиняет аффекты руководству разума. «Богословско-политический трактат» представляет собой одну из первых попыток историко-критического рассмотрения Библии.] и Гегеля.

Последнее из убеждений мистицизма, которое мы должны рассмотреть, состоит в том, что всякое зло объявляется иллюзией, порожденной «различиями» и «противоположностями» аналитического интеллекта. Мистицизм не считает, что такие вещи, как, например, жестокость, – это благо, но отрицает, что они реальны: они принадлежат к тому низшему миру призраков, от которых нас должно освободить проникающее видение. Иногда – например, у Гегеля и (по крайней мере, на словах) у Спинозы – не только зло, но и добро считается иллюзорным; в то же время эмоциональное отношение к тому, что считается реальностью, естественным образом ассоциируется с верой в благодать реального. Во всех случаях для этики мистицизма характерны радость и благорасположение, отсутствие негодования или протеста, неверие в полную неизбежность разделения на два враждебных лагеря – добра и зла. Такой подход является прямым результатом мистического опыта: с мистическим чувством единства связано чувство бесконечного покоя. Возникает даже подозрение, что чувство покоя и вызывает – как это происходит во сне – всю систему связанных друг с другом воззрений, составляющих мистическое учение. Но это трудный вопрос, и в ответе на него человечество вряд ли достигнет согласия.

Обсуждение истинности либо ложности мистицизма поднимает, таким образом, четыре вопроса:

1. Существуют ли такие два способа познания, которые можно назвать соответственно разумом и интуицией? И если существуют, то можно ли одному из них отдать предпочтение?

2. Иллюзорны ли всякая множественность и всякое различие?

3. Является ли время нереальным?

4. К какого рода реальностям принадлежат добро и зло?

И хотя последовательно проведенный мистицизм кажется мне ошибочным, я все же думаю, что в мистическом мироощущении есть определенный элемент мудрости, не достигаемый никаким иным способом. Если истина в этом, мистицизм окажется отношением к жизни, а не системой воззрений на мир. На мой взгляд, метафизическое вероучение – ошибочный результат, порожденный эмоциями, несмотря на то что оно вдохновляет мысли и чувства человека, питает его самые светлые идеалы. Даже осторожное и терпеливое исследование истины наукой, которое представляется прямой антитезой мгновенно схватываемой мистиком достоверности, можно выращивать и лелеять с помощью того самого духа благоговения, в котором живет и развивается мистицизм.

1. Разум и интуиция

Мне ничего не известно о том, реален или нереален мир мистика. У меня нет желания ни отрицать его реальность, ни доказывать, что его откровение не является подлинным откровением. А хотел бы я сказать следующее (и как раз здесь научный подход становится обязательным): не проверенный и не подкрепленный фактами инсайт является недостаточной гарантией истинности, несмотря на то что многие важнейшие истины находят с его помощью. Обычно говорят о противоположности инстинкта и разума; в XVIII веке предпочтение отдавали разуму, но под влиянием Руссо и романтиков [10. Романтизм – идейное и художественное движение, возникшее в Европе на рубеже XVIII и XIX вв. Романтики противопоставляли себя традиционному «классицизму» с его «простотой», «прямотой», «благородством» и идеалами совершенствования. В «классицистском» произведении автор не выражен: он не показывает своего отношения к предмету, своих эмоциональных переживаний и жизненной игры. Романтик, напротив, выражает себя в своих произведениях и таким способом стремится найти «тайну духа». «Желание или каприз поэта, – писал Ф. Шлегель, не допускает над собой закона». В Англии к романтикам причисляют Вордсворта, Кольриджа, Байрона, Шелли и Китса, в Германии – братьев Шлегелей, Шеллинга, Новалиса, Тика, Шлейермахера, во Франции – Гюго, Мюссе, Санд, Готье и других.] стали склоняться к инстинкту: сначала его предпочитали те, кто восставал против искусственных форм правления и мышления, а затем – по мере того как чисто рационалистическая защита традиционной теологии становилась все более трудным занятием – все, кто чувствовал в науке угрозу воззрениям на жизнь и мир, связанным со спиритуализмом. Бергсон [11. Бергсон, Анри (1859-1941) – французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Нобелевская премия по литературе как блестящему стилисту (1927). Основные идеи Бергсона касаются понятий «движения» и «длительности»: философ сближает бытие и время – вместо декартовского «Я есть вещь мыслящая» он выдвигает тезис «Я есть вещь длящаяся», а спинозовскую реальность *sub specie aeternitatis* (с точки зрения вечности) заменяет своим пониманием реальности *sub specie durationis* (с точки зрения длительности). Соответственно подвергается сомнению и «вечный» характер человеческих ценностей. Бергсон оказал значительное влияние на прагматизм, персонализм, экзистенциализм и философию истории, на творчество Марселя Пруста. Важнейшие работы: «Материя и память» (1896), «Творческая эволюция» (1907), «Два источника морали и религии» (1932).], назвав инстинкт «интуицией», поднял его на высоту единственного критерия метафизической истинности. Но на самом деле противоположность инстинкта и интеллекта иллюзорна. Инстинкт, интуиция, или инсайт, – это то, что первоначально приводит к идеям, подтверждаемым или опровергаемым последующим рассуждением; однако подтверждение, если оно возможно, в конечном счете состоит в совместимости с другими идеями, которые имеют, в свою очередь, не менее интуитивный характер. Разум – это не творческая, а скорее гармонизирующая, контролирующая сила. Даже в самой что ни на есть чистой логической сфере именно инсайт добывает новое знание первым.

Где инстинкт и разум действительно иногда вступают в конфликт, так это в области отдельных убеждений, которых люди придерживаются инстинктивно, однако с такой решимостью, что никакая степень несоответствия с другими воззрениями не может привести к отказу от них. Инстинкт, как и остальные человеческие способности, легко ошибается. Те, в ком разум слаб, часто не желают этого признавать, хотя

признают это в отношении других. Менее всего инстинкт подвержен ошибкам в практических делах, где правильное суждение помогает выжить; например, дружелюбие или враждебность в других людях часто распознаются с необычайной пронизательностью, несмотря на самые искусные маски. Но даже в такого рода вещах можно произвести обманчивое впечатление, будучи скрытным или прибегая к лести; а в вопросах не столь непосредственно практических, таких, с которыми имеет дело философия, самые твердые инстинктивные убеждения иногда совершенно ошибочны, о чем мы узнаем из их явной несовместимости с другими столь же твердыми убеждениями. Именно эти соображения вызывают необходимость в гармонизирующем посредничестве разума, который испытывает наши воззрения на совместимость и изучает в сомнительных случаях возможные источники ошибок. В этом нет никакого неприятия инстинкта в целом, отрицается лишь слепое доверие к одним аспектам инстинкта в ущерб другим – более тривиальным, но заслуживающим не меньшего доверия. Разум нацелен на то, чтобы исправить односторонность, а не уничтожить сам инстинкт.

Эти более или менее банальные максимы можно проиллюстрировать на примере бергсоновской защиты «интуиции» в противовес «интеллекту». Существуют, говорит он, "два глубоко различных способа познания вещи. Первый состоит в том, что мы движемся вокруг объекта; второй – что мы входим в него. Первый зависит от позиции, с которой мы смотрим, и от символов, с помощью которых себя выражаем.

Второй не зависит ни от точки зрения, ни от каких-либо символов. Можно сказать, что познание первого рода останавливается на относительном; познание второго рода, в тех случаях, где оно возможно, стремится достигнуть абсолютного". Второй тип познания, интуиция, – это, как он говорит, «своего рода интеллектуальная симпатия, с помощью которой мы помещаем себя внутрь объекта, чтобы совпасть с тем, что в нем уникально и потому невыразимо». В качестве примера он приводит самопознание: "...есть по крайней мере одна реальность, которую мы все схватываем изнутри, с помощью интуиции, а не простого анализа. Это наша собственная личность в ее протекании во времени – наше "я", которое длится". Все остальное в философии Бергсона состоит в передаче с помощью несовершенного посредничества слов этого добытого интуицией знания, а затем – в полном осуждении всех претензий того знания, которое установлено наукой и здравым смыслом.

Предпочтение, оказываемое Бергсоном интуитивному способу познания, следовало бы как-то оправдать. Необходимо доказать, что интуитивные убеждения заслуживают большего доверия, чем интеллектуальные. Бергсон пытается дать двойное оправдание, сначала объясняя, что интеллект – чисто практическая способность, обеспечивающая биологический успех, а затем рассказывая о замечательных достоинствах инстинкта у животных и тех чертах мира, которые сбивают с толку объясняющий интеллект, но не интуицию.

Что касается положения теории Бергсона, что интеллект – чисто практическая способность, развитая в борьбе за выживание, а не источник истинных верований, то мы должны сказать, во-первых, что узнали о борьбе за существование и о биологических предках человека только благодаря интеллекту; если интеллект заблуждается, то вся эта чисто гипотетическая история неверна. Если же, с другой стороны, мы согласимся, что эволюция происходила по Дарвину, то тогда не только интеллект, но и все наши способности развивались под влиянием практических нужд.

Интуиция в полной мере проявляется там, где она непосредственно полезна, например в оценке характеров и настроений других людей. Бергсон, видимо, считает, что борьбой за выживание объяснить способность к такого рода познанию труднее, чем, например, способность к чистой математике. Однако дикарь, обманувшись ложным дружелюбием, скорее всего, заплатит за ошибку своей жизнью, в то время как даже в самых цивилизованных странах людей не осуждают на смерть за математическую некомпетентность. Все наиболее впечатляющие из его примеров интуиции у животных имеют самую прямую связь с выживанием. Фактически же как интуиция, так и интеллект развились потому, что они полезны. И вообще говоря, они полезны, когда сообщают истину, а если лгут, то вредны. Интеллект у цивилизованного человека, подобно художественным способностям, иногда развивался до такой степени, что переставал быть полезным для этого индивида; интуиция же, судя по всему, в целом ослабевает с ростом цивилизованности. Она, как правило, сильнее у детей, чем у взрослых, у людей необразованных, чем у образованных.

Вероятно, у собак она превосходит все, что может встретиться у человеческих существ. Но тем, кто видит в этих фактах похвалу интуиции, следует вернуться к

Бертран Рассел Мистицизм и логика filosoff.org
дикой жизни в лесах, раскрасить свои тела краской и жить на подножном корму.

Теперь посмотрим, так ли уж непогрешима интуиция, как считает Бергсон. Лучшим примером служит, по его мнению, наше познание самих себя. Однако известно, что самопознание – трудное занятие и встречается редко; большинство людей, например, по натуре низки, тщеславны и завистливы, но не осознают этих своих черт, видных даже лучшим друзьям. Верно, что интуиция обладает убедительностью, которой нет у интеллекта: когда интуиция есть, почти невозможно усомниться в ее истинности. Но если в результате проверки окажется, что интуиция столь же погрешима, как и интеллект, ее более сильная субъективная достоверность превращается в недостаток, делает интуицию просто труднопреодолимым обманом. Кроме самопознания, один из самых известных примеров интуиции – это знание, которым, как люди думают, они обладают о тех, кого любят; считается, что стену между различными людьми любовь делает прозрачной, что души других становятся при этом такими же понятными, как свои собственные. И все же обман в таких случаях постоянно и с успехом практикуют; но даже если намеренного обмана нет, опыт постепенно доказывает, что инсайт, принимавшийся за истину, был иллюзией и что более медленные и осторожные методы интеллекта в конечном счете надежнее.

Бергсон считает, что интеллект только тогда может иметь дело с вещами, когда они обладают сходством с чем-то уже испытанным в прошлом, в то время как интуиция способна схватывать присущие каждому новому моменту времени уникальность и новизну. То, что каждый следующий момент в чем-то уникален и нов, конечно, верно; верно и то, что это нельзя полностью выразить с помощью интеллектуальных понятий. Только непосредственное знакомство с явлением может дать понимание его уникальности. Но непосредственное знакомство такого рода сполна дается ощущением и не требует, насколько я понимаю, какой-то специальной способности интуиции. Не интеллект и не интуиция, но ощущение снабжает нас новыми данными. И когда данные новы и сколько-нибудь примечательны, интеллект гораздо более способен к тому, чтобы иметь с ними дело, чем интуиция. Когда курица выращивает утят, она, несомненно, обладает интуицией, которая позволяет ей быть как бы внутри каждого из птенцов, а не просто иметь о них аналитическое знание; но когда утята лезут в воду, вся интуиция оказывается иллюзорной, и клуша на берегу беспомощна.

Интуиция на деле есть аспект и продолжение инстинкта и, как всякий инстинкт, вызывает восхищение лишь в том окружении, которое сформировало привычки животного. Однако она становится совершенно беспомощной, как только окружение изменяется и требует какого-то непривычного способа действий.

Теоретическое понимание мира, являющееся задачей философии, не имеет большой практической значимости для животных, дикарей и даже для весьма цивилизованных людей. Поэтому вряд ли стоит предполагать, что скорые, грубые и сподручные методы инстинкта или интуиции найдут в этой области благодатную почву для применения. Интуиция лучше всего работает в рамках самых старых видов деятельности, в которых обнаруживается родство с отдаленными поколениями наших животных и получеловеческих предков. В таких вопросах, как самосохранение и любовь, интуиция срабатывает иногда (хотя и не всегда) с поразительной быстротой и точностью, которые недоступны критическому интеллекту. Но философия не относится к числу занятий, иллюстрирующих наше родство с прошлым: это весьма утонченное, весьма цивилизованное занятие, требующее для своего успешного выполнения определенной свободы от инстинктивной жизни и даже, в некоторых случаях, определенной отстраненности от всех земных надежд или опасений. Лучшие проявления интуиции мы видим, таким образом, не в философии. Напротив, поскольку истинные объекты философии и привычка к мышлению, необходимая для их постижения, имеют странный, необычный и удаленный от жизни характер, именно здесь – в большей степени, чем где-либо, – интеллект превосходит интуицию, а поспешные и непродуманные оценки меньше всего заслуживают безусловного одобрения.

Проповедуя научную сдержанность и осторожность в противовес самоутверждению уверенной в себе интуиции, мы только призываем – в сфере познания – к той широте созерцания, той безличной незаинтересованности и той свободе от практических пристрастий, которые проповедовались всеми великими религиями мира. Таким образом, наш вывод, как бы он ни противоречил взглядам многих мистиков, в сущности своей не вступает в конфликт с их духом. Это, скорее, следствие деятельности того же духа в царстве мысли.

2. Единство и множественность

Одна из самых убедительных сторон мистического просветления заключена в откровении, показывающем несомненное единство всех вещей. Это откровение порождает пантеизм в религии и монизм в философии. Логика, начинающаяся с Парменида и достигающая у Гегеля и его последователей своей кульминации, разрабатывалась ради того, чтобы доказать, что Вселенная есть единое, неделимое целое, а то, что кажется его частями и считается субстанциальным и самосущим, просто иллюзия. Концепция реальности, совсем иной, нежели мир явлений, реальности единой, неделимой и неизменной, была введена в западную философию Парменидом, и – по крайней мере номинально – не по мистическим или религиозным основаниям, но как результат логической аргументации, доказывающей невозможность небытия. Большинство появившихся в дальнейшем метафизических систем представляют собой следствия этой фундаментальной идеи.

Логика, используемая для защиты мистицизма, ошибочна в качестве логики и может быть подвергнута критике в том, что касается технических деталей. Эта критика проведена мною в другой работе, и я не буду ее здесь воспроизводить, поскольку она длинна и трудна; вместо этого я попробую проанализировать то состояние ума, которое порождает мистическую логику.

Вера в реальность, отличную от той, о которой говорят чувства, возникает с неодолимой силой при определенных настроениях, по большей части и являющихся источником мистицизма и метафизики. Пока эти настроения преобладают, нужды в логике нет. Поэтому наиболее последовательные из мистиков ею не пользуются, апеллируя непосредственно к результатам инсайта. Но такой последовательный мистицизм редко встречается на Западе. Когда эмоциональная напряженность ослабевает, привыкший к рассуждению человек начинает искать логические основания для той веры, которую в себе находит. И поскольку вера уже есть – будет приветствовать любое из предлагаемых оснований. Парадоксы, которые, кажется, разрешает его логика, на самом деле являются парадоксами мистицизма и той целью, которая, как он чувствует, должна быть достигнута, если логика желает согласия с инсайтом. Полученная в результате логика привела к тому, что многие философы оказались совершенно неспособными хоть как-то объяснить существование мира науки и повседневной жизни. Если бы они стремились к такому объяснению, то, вероятно, нашли бы ошибки в своей логике; но большинство из них стремились не понять, а обвинить мир науки и повседневной жизни в нереальности, защищая интересы сверхчуждственного «реального» мира.

Именно так логика разрабатывалась теми из великих философов, которые были мистиками. Но поскольку они обычно принимали без доказательства интуицию мистического чувства, их логические учения преподносились с некоторой сухостью и полагались совершенно независимыми от того внезапного озарения, из которого возникли. Тем не менее эти учения несли на себе печать своего происхождения и оставались – если воспользоваться выражением Джорджа Сантаяны [12. Сантаяна, Джордж (1863–1952) – американский философ, один из представителей критического реализма.] – «злокозненными» по отношению к миру науки и здравого смысла. Только так можно объяснить спокойствие, с которым философы воспринимали несовместимость своих учений со всеми теми обыденными и научными фактами, которые кажутся общепринятыми и в высшей степени заслуживающими доверия.

Логика мистицизма обнаруживает – что естественно – недостатки, присущие всему злокозненному. Импульс к логике, слабо, ощущаемый, когда преобладает мистическое настроение, вновь заявляет о себе, когда это настроение ослабевает и возникает желание сохранить исчезающий инсайт или, по крайней мере, доказать, что это был подлинный инсайт, а все ему противоречащее лишь иллюзия. Возникающая таким образом логика обладает чертами предубеждения или лицемерия, поскольку питается ненавистью к обыденному миру, к которому должна прилагаться. Такая установка не может, естественно, приводить к позитивным результатам. Всякому ясно, что чтение книг с единственной целью их опровергнуть вряд ли будет способствовать пониманию; и читать книгу природы, заранее зная, что она иллюзорна, точно так же бессмысленно. Если логика хочет, чтобы обыденный мир был познаваем, она не должна относиться к нему с неприязнью, ей следует вдохновляться искренним к нему расположением – а этого-то мы обычно и не находим у метафизиков.

3. Время

Нереальность времени – одно из главных положений многих метафизических систем.

Зачастую оно номинально основано, как учение Парменида, на логических аргументах, но в действительности извлечено, по крайней мере основателями этих систем, из достоверности, порожденной моментом мистического инсайта. По словам суфийского поэта [13. Имеется в виду Руми, Джалаледдин (1207–1273) – таджикский и персидский поэт-мистик, основатель суфийского ордена моулави («танцующих дервишей»)]. Основное произведение – «Месневи и манави» («Назидательные двустушия»).

Прошлое и будущее закрывают божество от нашего взора.

Сожги их в огне! Долго ли еще Будешь ты подобно тростнику разделен ими на части?

Вера в то, что подлинно реальное должно быть недвижимым, очень распространена; она способствовала возникновению метафизического понятия субстанции и даже сегодня получает незаконное удовлетворение от таких научных идей, как сохранение энергии и массы.

Трудно разобраться, где истина и где ложь в этом воззрении. Аргументы в пользу того, что время нереально и мир чувств иллюзорен, следует, я думаю, считать ошибочными. Тем не менее есть какой-то смысл – который легче почувствовать, чем выразить, – в том, что время является незначительной и поверхностной характеристикой реальности. Прошлое и будущее должны быть признаны столь же реальными, как настоящее, и какое-то освобождение от рабства времени существенно важно для философского мышления. Значимость времени носит скорее практический, чем теоретический характер, относится в большей степени к нашим желаниям, чем к истине. Более правильная картина мира, я думаю, получится, если мы изобразим время как поток, в который входят вещи из лежащего вонне вечного мира, а не как беспощадного тирана, пожирающего все существующее. И в мышлении, и в чувстве осознать незначительность времени, даже если бы оно было реальным, означает войти во врата мудрости.

Что это действительно так, можно понять, как только мы спросим себя, почему наши чувства по отношению к прошлому так отличаются от чувств по отношению к будущему. Основание для этого совершенно практическое: наши желания могут воздействовать на будущее, но не на прошлое; будущее в какой-то степени нам подвластно, в то время как прошлое не поддается изменению. Но всякое будущее станет когда-нибудь прошлым; если мы правильно видим прошлое сейчас, оно должно было, когда еще было будущим, быть точно таким, каким мы его увидим, когда оно станет прошлым. Качественное различие между прошлым и будущим, следовательно, есть не внутреннее различие, но лишь различие по отношению к нам: для беспристрастного созерцания оно не существует. А беспристрастность созерцания в интеллектуальной сфере является той самой добродетелью незаинтересованности, которая в сфере действия проявляется как справедливость и бескорыстие. Тот, кто желает увидеть мир в истинном свете и подняться в мысли над тиранией практических желаний, должен научиться преодолевать различное отношение к прошлому и будущему и обзирать течение времени единым, всеохватывающим взглядом.

Способ, каким, как мне кажется, времени не следовало бы входить в теоретическое философское мышление, можно проиллюстрировать на примере философии, связавшей себя с идеей эволюции; ее представители – Ницше, прагматизм [14. Прагматизм – философское учение, основные идеи которого высказал Ч. Пирс (1839–1914). Оно стало популярным благодаря работам У. Джемса, Д. Дьюи и других американских философов. Прагматизм предлагает рассматривать все понятия, в том числе моральные и религиозные, с точки зрения их практических следствий, полезности для человеческого поведения.], Бергсон.

Опираясь на факт развития жизни от низших ее форм до человека, эта философия усматривает в прогрессе фундаментальный закон Вселенной; тем самым различие между «раньше» и «позже» проникает в самую цитадель созерцательного взгляда. С предлагаемой эволюционистами картиной прошлой и будущей истории мира, имеющей предположительный характер, у меня нет желания спорить. Но думаю, что в опьянении, вызванном быстрым успехом, было забыто многое из того, что требуется для истинного понимания Вселенной. Что-то от эллинизма, что-то также и от восточной резиньяции должно соединиться с торопливостью западного

самоутверждения, для того чтобы эта философия избавилась от юношеского пыла и достигла мудрости зрелого мужа. Хотя она и апеллирует к науке, действительно научная философия, я полагаю, это что-то более напряженное и отстраненное, обращающееся к менее заземленным надеждам и требующее более суровой дисциплины.

«Происхождение видов» Дарвина убедило мир, что видовые различия животных и растений не являются жесткими и неизменными. Учение о естественных видах хранилось и защищалось аристотелевской традицией и своей «необходимостью» для ортодоксальной догмы; однако, несмотря на то что позволяло проводить простую и ясную классификацию, оно было однажды и навсегда отвергнуто биологией. Было показано, что различие между человеком и низшими животными, которое человеческому разумению кажется невероятно большим, есть достижение постепенное, предполагающее существование промежуточных существ, которых нельзя без колебаний ни включить в человеческую семью, ни исключить из нее. Лаплас [15. Лаплас, Пьер Симон (1749–1827) – французский астроном и математик, создатель теории вероятности, автор знаменитой космогонической гипотезы, изложенной в труде «Изложение системы мира» (т. 1–2, 1796).] показал к тому времени, что Солнце и планеты, по всей вероятности, возникли из первоначальной более или менее недифференцированной туманности. Таким образом, старые жестко закрепленные границы стали колебаться и потеряли ясность, а все бывшие ранее четкими контуры оказались размытыми. Вещи и виды потеряли свои пределы, и ни о чем нельзя уже было сказать, где что начинается и где кончается.

Но если человеческое тщеславие и пошатнулось на мгновение, узнав о родстве с обезьяной, то вскоре нашло способ восстановить себя в собственных глазах – с помощью «философии» эволюции. Путь от амебы к человеку казался философам очевидным прогрессом – хотя неизвестно, согласилась бы с этим мнением амеба или нет. Поэтому те изменения, которые произошли в прошлом и считались правдоподобными с точки зрения науки, были с радостью восприняты как способствующие пониманию закона развития в направлении вселенского блага – эволюции или развертывания идеи, постепенно воплощающей себя в действительном.

Но такой взгляд, хотя он удовлетворял Спенсера [16. Спенсер, Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX в.] и тех, кого мы называем эволюционистами гегельянского толка, более искренние сторонники развития считали неадекватным. Для них идеал, к которому мир постоянно приближается, слишком мертв и статичен, чтобы можно было в него уверовать. Изменяться и развиваться в ходе эволюции должно не только стремление, но и идеал: должна быть не раз и навсегда установленная цель, а постоянное формирование новых потребностей тем импульсом, который есть жизнь и который только и придает единство всему процессу.

В этой философии жизнь – непрерывный поток, в котором все разделения искусственны и нереальны. Отдельные вещи, начала и концы – просто удобные фикции: существует лишь спокойный, ничем не нарушаемый переход. Мнения сегодняшнего дня могут считаться истинными сегодня, если помогают нам плыть в потоке; но завтра они станут ложными и должны быть заменены новыми, отвечающими новой ситуации. Все наше мышление состоит из удобных фикций, воображаемых сгущений потока: реальность протекает независимо от всех наших фикций и может лишь переживаться, но не постигаться в мышлении. Каким-то образом нам дают понять – хотя и не утверждают этого открыто, – что будущее, которое непредсказуемо, будет лучше, чем прошлое или настоящее, – из читателя делают ожидающего конфету ребенка, которому сказали открыть рот и закрыть глаза.

Логика, математика, физика не существуют для этой философии, потому что слишком «статичны»; подлинно реален импульс и движение к цели, которая, подобно радуге, отступает по мере нашего к ней приближения, и каждое место, когда мы его достигаем, становится иным, чем казалось на расстоянии.

Я не собираюсь подробно разбирать эту философию. Хочу только сказать, что мотивы и интересы, которые ее вдохновляют, столь исключительно практические, а проблемы, которые она решает, столь специальные, что она вряд ли касается хотя бы одного из вопросов, образующих, на мой взгляд, подлинную философию.

Преимущественный интерес эволюционизм проявляет к вопросу о человеческой судьбе или, по крайней мере, о судьбе жизни. Его больше интересуют мораль и счастье,

чем знание как таковое. Нужно признать, что это может быть сказано и о многих других философиях; желание обладать того рода знанием, которое дает философия, встречается редко. Но если философия хочет достигнуть истины, необходимо прежде всего, чтобы философы обрели незаинтересованное интеллектуальное любопытство, характеризующее настоящего ученого. Знание о будущем – относящееся к тому роду знания, которое нам следует искать, если мы желаем знать человеческую судьбу, – в определенных узких границах возможно. Трудно сказать, насколько раздвинет эти границы прогресс науки. Но очевидно, что любое суждение о будущем принадлежит по своему предмету какой-то частной науке и устанавливается, если это вообще возможно, лишь с помощью методов этой науки. Философия – не некий кратчайший путь к тем же результатам; если она желает быть подлинным исследованием, то должна определить собственный предмет и стремиться к результатам, которые другие науки не могут ни доказать, ни опровергнуть.

Эволюционизм, опираясь на прогресс, означающий изменение от худшего к лучшему, позволяет времени стать тираном, вместо того чтобы сделать его своим слугой.

Из-за этого эволюционизм теряет беспристрастность созерцания, являющуюся источником всего лучшего в философском мышлении и переживании. Метафизики, как мы видели, часто полностью отрицали реальность времени. Я не желаю этого делать; но я хотел бы сохранить умственное расположение, которое питало это отрицание, подход, который мысленно рассматривает прошлое как имеющее ту же реальность, что и настоящее, и столь же значимое, как будущее. «Поскольку душа представляет вещи по внушению разума, она подвергается одинаковому эффекту, все равно, будет ли это идея вещи будущей или прошедшей, или же настоящей», – говорит Спиноза.

Именно этого «представления вещей по внушению разума» не хватает философии, которая основана на идее эволюции.

4. Добро и зло

Согласно мистицизму, все зло иллюзорно; иногда это утверждается и в отношении добра; однако чаще говорится, что вся реальность есть добро. И то и другое мы можем найти у Гераклита. «Добро и зло суть одно», – говорит он. И еще: «У бога все прекрасно, хорошо и справедливо; люди же считают одно справедливым, другое несправедливым». Похожей позиции придерживается и Спиноза, который, однако, употребляет слово «совершенство», когда говорит о добре, не являющемся только человеческим. «Под реальностью и совершенством я разумею одно и то же», – говорит он; но в другом месте мы находим определение: «Под добром я понимаю то, что, как мы наверное знаем, для нас полезно». Таким образом, совершенство принадлежит реальности в ее собственной природе, а добро соотносительно с нами и нашими нуждами и исчезает под беспристрастным взором. Подобное различие, я думаю, необходимо для понимания этической позиции мистицизма: имеется низший, земной род добра и зла, который делит мир явления на то, что кажется враждующими частями; но существует еще и высший, мистический род добра, который принадлежит реальности и которому не противостоит никакой соответствующий род зла.

Трудно дать логически приемлемое объяснение этой позиции, не признав, что добро и зло субъективны, что добро – просто то, к чему у нас одно чувство, а зло – то, к чему у нас другое чувство. В деятельной жизни, где мы должны осуществлять выбор и предпочитать из двух возможных действий одно, различать добро и зло (или по крайней мере лучшее и худшее) необходимо. Но это различие, как все принадлежащее действию, входит в то, что мистицизм считает миром иллюзии, хотя бы только потому, что оно внутренне связано с временем. В нашей созерцательной жизни, где действия не обязательны, можно быть беспристрастным и преодолевать этический дуализм, которого требует действие. До тех пор, пока мы остаемся беспристрастными, мы можем спокойно говорить, что добро и зло, присущие действию, суть иллюзии. Но когда – что обязательно должно произойти, если у нас мистическое видение, – мы обнаруживаем, что весь мир достоин любви и поклонения, когда мы видим, что Земля и все простые вещи...

Облачены в небесный свет, мы говорим, что есть более высокое благо, чем благо действия, и что это высшее благо принадлежит всему миру, каков он есть в реальности. Этим можно объяснить и оправдать двойственную позицию и очевидные колебания мистицизма.

Возможность этой всеобщей любви и радости во всем, что существует, в высшей степени значима для поведения и счастья в жизни, она придает неизмеримую ценность мистической эмоции, независимо от того, какие представления затем над ней выстраивают. Но если мы не хотим обманываться, необходимо ясно понять, что именно открывает мистическая эмоция. Она открывает возможности человеческой природы – возможности более достойной, счастливой, свободной жизни, не достижимой никаким другим способом. Но она ничего не открывает в мире вне человека или в природе Вселенной в целом. Добро и зло, и даже высшее благо, которое мистицизм находит везде, суть отражения наших собственных эмоций в других вещах, а не субстанция вещей, как они есть сами по себе. И поэтому беспристрастное созерцание, освобожденное от поглощенности собою, не станет судить, хороши вещи или плохи, хотя с радостью присоединится к тому чувству всеобщей любви, которое заставляет мистика говорить, что весь мир добр.

Философия эволюции связана через понятие прогресса с этическим дуализмом худшего и лучшего, и потому ей недоступен не только тот взгляд, который совершенно не замечает добра и зла; она лишена и мистической веры во всеобщую благодать. Таким образом, различие добра и зла становится, подобно времени, тираном в этой философии и навязывает мышлению беспокойную избирательность действия. И все же добро и зло, как и время, суть не общее и фундаментальное в мире мышления, но лишь последние и высокоспециализированные понятия интеллектуальной иерархии.

Хотя, как мы видели, мистицизм можно интерпретировать так, чтобы он был совместим со взглядом, согласно которому добро и зло не являются интеллектуально фундаментальными, следует признать, что здесь мы расходимся с большинством великих философов и религиозных учителей прошлого. Я убежден, однако, что устранение этических соображений из философии необходимо как с научной точки зрения, так и – хотя это звучит парадоксально – с точки зрения интересов этики.

Оба утверждения следует кратко обосновать.

Надежда на удовлетворение нашей по-человечески понятной слабости – доказать, что мир обладает той или иной этической характеристикой, – не относится, по-моему, к числу тех, которые научная философия способна хоть как-то оправдать. Различие мира доброго и мира злого является различием в отдельных характеристиках вещей, существующих в этих мирах: это различие недостаточно абстрактно, чтобы сделаться предметом философского рассмотрения. Любовь и ненависть, к примеру, – этические противоположности, но для философии это весьма похожие друг на друга отношения к объектам. Общая форма и структура данных отношений, которые конституируют ментальные феномены, является проблемой для философии, но различие между любовью и ненавистью не есть различие в форме или структуре и потому принадлежит не философии, а частной науке – психологии. Таким образом, этические интересы, часто вдохновлявшие философов, должны отойти на задний план: какой-то этический интерес может, конечно, вдохновлять все исследование в целом, но ни один не должен касаться деталей или результатов, которые мы желаем получить.

Если такая точка зрения вначале покажется неутешительной, мы должны вспомнить, что перемены подобного рода были признаны необходимыми во всех науках. От физика или химика не требуют сегодня доказательств этической значимости ионов и атомов; биолог не должен доказывать полезность растений и животных. В донаучные эпохи было иначе. Астрономия, например, изучалась потому, что люди верили в астрологию: считалось, что движения планет оказывают самое прямое влияние на жизнь человеческих существ. Возможно, что, когда такие взгляды стали угасать и появилось незаинтересованное изучение астрономии, многие, для кого именно астрология была захватывающе интересна, решили, что астрономия имеет слишком отдаленное отношение к человеку, чтобы стоило ею заниматься. Физика – например, в «Тимее» [17. «Тимей» – один из важнейших диалогов Платона, посвященный космологии, физике и биологии. Этот диалог оказал значительное влияние на развитие средневековой философии, а также на философию эпохи Возрождения.] Платона – изобиловала этическими понятиями: к числу важнейших ее задач относилось доказательство того, что Земля заслуживает восхищения.

Современного физика, напротив, – хотя он вовсе не отрицает, что Земля восхитительна, – совершенно не заботят, как физика, ее этические атрибуты: он стремится разыскивать факты, а не рассуждать, хороши они или плохи. В психологии научный подход установился позднее и с большими трудностями, чем в физической науке: естественно было полагать, что человеческая природа либо добра, либо зла и что различие между добром и злом, столь фундаментальное в сфере практической

деятельности, должно иметь значение также и в теории. И только в прошлом столетии сформировалась этически нейтральная психология; и здесь точно так же этическая нейтральность оказалась существенно важной для научного прогресса.

В философии до сих пор к этической нейтральности стремились редко и еще реже ее достигали. Люди помнили о своих желаниях и судили о философиях, примеряя их к себе. Вытесненное из частных наук убеждение, что понятия добра и зла дают ключ к пониманию мира, обрело пристанище в философии. Но даже из своего последнего убежища эта вера должна быть изгнана, если философия не хочет оставаться просто приятным мечтанием. То, что счастье раньше находит тот, кто его не ищет, – тривиальная истина; вполне возможно, что это верно и в отношении добра. В сфере мышления, во всяком случае, те, кто забывают о добре и зле и ищут только факты, найдут добро скорее, чем те, для кого мир искажен их собственными желаниями.

Мы возвращаемся, таким образом, к парадоксу: философия, не стремящаяся навязать миру свое собственное понимание добра и зла, не просто ближе к истине; она – следствие более высокой этической позиции, чем та, которая – подобно эволюционизму и более традиционным системам – непрерывно оценивает Вселенную и хочет найти в ней воплощение сегодняшних идеалов. В религии и во всяком глубоком и серьезном воззрении на мир и человеческую судьбу есть какое-то смирение, осознание того, что человеческая власть имеет пределы, – и этого-то как раз не хватает современному миру, с его быстрыми успехами в материальной сфере и его дерзкой верой в безграничные возможности прогресса. Тот, кто любит свою жизнь, тот ее и потеряет: есть опасность, что из-за слишком самонадеянного жизнелюбия сама жизнь потеряет многое из того, что придает ей наивысшую ценность. Смирение, которое религия внушает действию, в сущности, близко по духу к тому смирению, которому учит наука; и этическая нейтральность, с помощью которой достигались научные победы, есть результат именно этого смирения.

Добро, о котором нам нужно помнить, – это добро, творить которое в нашей власти; добро в нашей собственной жизни и в нашем отношении к миру. Настойчивое требование осуществлять благо во внешнем мире является формой самоутверждения, которая, не принося желаемого внешнего блага, может серьезно навредить подвластному нам внутреннему благу и разрушить то уважение к факту, которое соединяет в себе одновременно и все ценное, что есть в смирении, и все полезное, что есть в научном складе ума.

Человеческие существа не могут, конечно, полностью выйти за пределы человеческой природы; что-то субъективное, хотя бы сам направляющий наше внимание интерес, всегда остается в нашем мышлении. Но научная философия подходит к объективности ближе, чем любое другое человеческое стремление, и дает нам, следовательно, самую тесную, постоянную и интимную связь с внешним миром, какой только можно достигнуть. Для примитивного ума всякая вещь либо друг, либо враг: но опыт доказывает, что с помощью только дружелюбия или вражды мир понять невозможно.

Научная философия, таким образом, представляет собой – пусть сама она находится пока что в зародышевом состоянии – форму мышления более высокую, чем любая донаучная вера или воображение; как всякая попытка самотрансценденции, она получает в качестве вознаграждения более широкий взгляд на мир. Эволюционизм, хотя и обращается к отдельным научным фактам, не способен быть истинно научной философией, потому что он раб времени, поглощен этическими вопросами и интересуется преимущественно земными делами и человеческой судьбой. Истинно научная философия скромнее, она требует большего усилия и постепенности, меньше предлагает внешнего обманчивого блеска, не льстит ложным надеждам; она безразличнее к судьбе и способна принимать мир таким, каков он есть, не тираня его нашими по-человечески изменчивыми требованиями.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакии buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!